

УДК 811.161.1'28  
DOI: 10.17223/19986645/42/3

Г.В. Калиткина

## «СТАРА, ВОТ И РАССКАЗУЮ ВСЁ...» ДИСКУРСИВНЫЙ КОРПУС ТРАДИЦИИ И ЖАНР «ПЕРЕДАЧА ТРАДИЦИОННОЙ ЭТИКИ»

*В статье рассматривается дискурс традиции – один из механизмов поддержания и воспроизводства идеальных ценностей и социальных установлений. В дискурсивном корпусе традиции выделен речевой жанр, транслирующий этические категории долга и идеала. Правомочность его обособления обоснована в результате анализа основных концептов и своеобразия репрезентации времени и пространства. Выявлена специфика картины мира, возникающей в рамках жанра передачи этики, на фоне миромоделирования содержательно близких меморатов, литаний и жалоб.*

Ключевые слова: традиция, традиционная культура, диалект, дискурс, речевой жанр, этика.

**1. Традиция.** Задолго до институционального оформления антропологии феномен традиции уже привлекал внимание Г. Зиммеля, А. Бергсона, О. Шпенглера. Во второй половине XX в. традиция оказалась важнейшим объектом исследования для всех гуманитарных дисциплин. К ней обращались этнографы, фольклористы, литературоведы, историки, социологи, философы, психологи, специалисты по коммуникации, коллоквиалистике и пр. При этом объем понятия «традиция» менялся, а сам термин постепенно размывался почти до операциональной ничтожности. Сегодня он указывает и на материал культуры, и на некий процесс его трансляции, и на способ этой трансляции, и на фактор, обеспечивающий устойчивость культуры.

В качестве внеприродных субстанций общество передает не только материальные средства и ресурсы своего воспроизводства, шаблоны поведения, но также предельные значения символического универсума, обобщенные представления о своих целях, идеалах, нормах, императивах и т.д. В передаче перечисленных аспектов культурной традиции удельная доля речи соответственно нарастает. Тем не менее первоначально изучение горизонтальной (синхронной) и вертикальной (диахронической) трансляции бесписьменной культуры практически не опиралось на исследовательский аппарат языкознания.

**2. Дискурсивная трансляция традиции.** Только к середине прошлого века представители многих отраслей знания согласились с неновым в общепринятом тезисом, что человек живет в мире, формируемом и предъявляемом ему посредником – языком. «Лишь небольшая часть нашего знания о мире рождается в нашем личном опыте. Большая его часть имеет социальное происхождение, передана мне моими друзьями, родителями, учителями и учителями моих учителей», – утверждал в 1962 г. А. Шютц [1. С. 16]. Идея учета языковых факторов при объяснении экстралингвистических явлений и феноменов оказалась созвучной и сторонникам «лингвистического переворота», и

постструктуралистам, и когнитологам, осваивавшим все более широкие области гуманитарной науки<sup>1</sup>. А в аналитической философии, изначально уделявшей внимание противопоставлению дискурсивного и эмпирического знания<sup>2</sup>, стала актуальной проблематика «knowledge by description», или, как обозначает ее И.Т. Касавин, «познавательной коммуникации», «знания-сообщения», «знания понаслышке».

Дискурсивная передача идеальных элементов традиционной культуры<sup>3</sup> (а эта форма культуры во многом воспринимается как концентрирующая в максимальной степени национальные черты) в восточном ареале *Pax slavica* все еще предстает в «диалектном одеянии», если использовать метафору С.Е. Никитиной.

В отечественной литературе уже устоялся термин «диалектный дискурс», и все же диалектная коммуникация обладает рядом черт, препятствующих однозначной квалификации обозначаемого феномена. В результате исследователи предпринимают попытки его дальнейшей стратификации: «Все диалектное речевое пространство может быть обозначено как общий дискурс, особенности которого реализуются в частных дискурсах (например, гендерном, ритуальном, темпоральном и т.д.)», – настаивает Н.В. Большакова [4. С. 8]; см. также: [5].

В трактуемом подобным образом диалектном дискурсе на пересечении бытовой, моральной и фольклорной зон есть все основания увидеть область функционирования корпуса традиции – уже некогда созданных, создаваемых и потенциально возможных текстов, объединяемых указанной содержательно-смысловой общностью. Далее она будет обозначаться как «дискурс традиции». Парадоксальным образом этот полуинституализированный дискурс организован вокруг размытой смысловой области «наивного» сознания, среди многочисленных имен которой нет имени *традиция*. В народной речевой культуре ее обозначают диалектно-просторечные ЛСВ общерусских имен и собственно диалектные номинации (иногда в их включенности в связанные выражения) *мода, модель; повер, поверье, вера; обычай, обычае, завывчина, завывчка; порядок; заведение, заведь, заведёнка, заведённое, завидье; закон* и др. [6].

Дискурс традиции – это тот «словесный компонент поведения» (в терминах ранних работ М.М. Бахтина) или «массив языковой практики» (по

---

<sup>1</sup> Ср. с позицией Е.С. Кубряковой, сформулированной в 2004 г.: «Хотя с информацией о мире мы сталкиваемся постоянно, а получение ее осуществляется всеми органами чувств, все объяснения и об объектах, и о чувствах мы получаем благодаря языку – через дискурс, общение, тексты. Подавляющее большинство необходимых сведений о мире (прежде всего научных и теоретических) мы постигаем не в ходе нашей чувственной, предметной, практической деятельности, какой бы важной и базовой она в нашей жизни ни являлась, но в ходе деятельности, опосредованной языком» [2. С. 43].

<sup>2</sup> «Сегодня <...> в аналитической философии конкурируют три основных подхода: редукционизм, дуализм и кредулизм. Согласно первому всякое знание, полученное путем коммуникации с другим, является вторичным, поскольку, в конце концов, может быть редуцировано к индивидуальному опытному знанию. <...> Согласно второму подходу, коммуникационное сообщение является таким же фундаментальным источником знания, что и личный чувственный опыт индивида, и не может быть сведено к последнему. Третья позиция состоит в утверждении приоритета коммуникативного знания: коммуникация – источник и условие опыта, всякого познания вообще» [3. С. 50].

<sup>3</sup> В этом же значении отечественные авторы используют термины «народная культура», «крестьянская культура», «традиционная сельская культура», «традиционно-бытовая культура».

М. Фуко), который является коррелятом социокультурной деятельности по поддержанию иерархии идеальных ценностей и социальных установлений. Термин «поддержание», как представляется, подразумевает не только трансляцию этих воззрений и норм новому поколению во избежание их крушения и исчезновения с уходом стариков. Одновременно он учитывает и непрерывное (вос)производство данных идеальных объектов, поскольку традиция не наличествует в мире как раз и навсегда созданная сущность, а постоянно конструируется, переписывается на языке сегодняшнего дня.

Для передачи символических ценностей люди используют разнотипные социальные практики (см. работы Ж. Батая, П. Бурдьё, Ж.-Ф. Лиотара, П.С. Сангрена, К. Марч, М.К. Петрова, Д.Б. Зильбермана и др.), и дискурс – лишь один из механизмов культурной репродукции. Вместе с тем Н. Рис, находясь в позиции внешнего наблюдателя русской лингвокультуры, настаивает на том, что «у русскоговорящего сообщества речевое общение представляет собой главную арену производства социальных ценностей. <...> Разговор – это не та деятельность, которая описывает процесс создания ценностей, а та деятельность, в РАМКАХ КОТОРОЙ, в ХОДЕ КОТОРОЙ и ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОЙ на деле создаются социальные ценности» [7. С. 55]. Таким образом, вопреки установке психолингвистики на разделение речевой коммуникации и социальной интеракции [8] в данном случае происходит совмещение этих феноменов. Полагаем, что это касается дискурса всех идеальных ценностей, сформированных русской культурой.

Поскольку анализ дискурса предусматривает учет психологических, социальных, национально-культурных, прагматических и подобных факторов, сделаем два замечания такого рода. На нынешнем этапе исследования можно утверждать, что тексты, порождаемые дискурсом традиции, встраиваются в рамки отчетливой гиперструктуры диалога. Он протекает в условиях неравноправия участников: чужак, или неофит, или «младший» в иерархии социальной группы задает вопросы признанному (легитимному) носителю традиции и получает его ответы. И хотя повседневностью обусловлено неинституциональное объединение субъектов этого дискурса, свободная мена названных коммуникативных ролей им принципиально не свойственна.

**3. Речевые жанры, предназначенные для передачи традиции.** Всякая дискурсивная формация – это несколько аморфное единство «тематически общих» текстов, агломерация, которую исследователи для удобства описания стремятся структурировать на разных основаниях, в том числе разделяя на жанры<sup>2</sup> – модели организации формальных средств и структур того или иного речевого события и речевого произведения. В свое время М.М. Бахтин резюмировал: «Номенклатуры устных речевых жанров пока не существует, и пока даже не ясен принцип такой номенклатуры» [10. С. 259]. И несмотря на то, что сегодня выделены уже 295 жанров [9], практически во всех подверг-

---

<sup>1</sup> Любой внешний наблюдатель выделяет какую-либо содержательную или формальную характеристику чужой культуры прежде всего на основании отрицания ее в культуре собственной.

<sup>2</sup> «Наибольшее число работ, посвященных данной проблеме, находим, как ни странно, не в собственно жанроведческих исследованиях, а в чрезвычайно многочисленных и неоднородных по принятым концепциям и используемым методам исследованиях по дискурсу, посвященных классификации типов дискурса на разных основаниях», – констатирует в 2010 г. В.В. Дементьев [9. С. 157].

шихся исследованию дискурсивных массивах речежанровая сегментация далека от завершения по причине, названной тем же М.М. Бахтиным. Она заключается в неисчерпаемом разнообразии социального взаимодействия, в неизбежно возникающих новых его видах, вызываемых к жизни изменившимися условиями, в которых существуют люди. Так, например, упоминавшаяся выше монография Н. Рис [7] посвящена многочисленным (от традиционно описываемых до оставшихся за рамками всех существовавших на тот момент классификаций) жанрам вновь сложившегося «катастрофического дискурса», который сопутствовал резким преобразованиям в области политики, экономики и права в эпоху поздней горбачевской перестройки и распада СССР.

Тем не менее вполне определились противоположные позиции, с которых лингвисты<sup>1</sup> предлагают разграничивать и обозначать элементы жанрового поля.

Ряд авторов разделяют убеждение А. Вежбицкой в том, что выработанные лингвокультурой речевые жанры (или же их компоненты типа речевых стратегий и тактик, речевых действий) язык непременно маркирует («типизирует») лексически. «Отнесенность конкретной речевой деятельности к тому или иному речевому жанру определяется способностью носителей языка идентифицировать его и назвать как таковой. <...> Разумеется, при описании конкретного речевого действия носитель языка может и ошибиться (например, принять совет за просьбу или приказ) или употребить неточное обозначение – важна принципиальная возможность идентификации речевого жанра в данном языке», – отмечают Е.Я. и А.Д. Шмелевы [12. С. 194–195]. Вследствие такого подхода, первоначально выделенные и удовлетворительно описанные к настоящему времени жанры соотносятся с глаголами и именами речи, которые обозначают «наивные» интенции говорящего.

Не опровергая тезиса, что речевой жанр – это форма выражения коммуникативного намерения, другую позицию достаточно афористично сформулировал в 2014 г. В.В. Дементьев: «Часто наличие названий в коммуникативном концепте<sup>2</sup> (жанров, речевых актов, стратегий, тактик, ролей, типажей) признается определяющим фактором, хотя, как известно, при изучении концептов в целом лексический компонент – исключительно важный, но далеко не единственный» [14. С. 31]. Не раз был высказан и более радикальный взгляд. Например, Н. Рис, настаивая на том, что человек, воспитанный и сформированный русской лингвокультурой, так же тонко чувствует «непопадание» в русский речевой жанр, как и в русскую грамматику, полагает, что он

---

<sup>1</sup> Кроме собственно лингвистических концепций речевого жанра, в рамках широкой теории словесности разработаны строгие подходы, применяемые в литературоведческих и медийных исследованиях. Прочие гуманитарии, например социологи, психологи, этнометодологи и др., более свободны в своих классификациях речевых действий. Прочитируем К. Трейси и Дж. С. Роблз, американских «специалистов по коммуникации», занимающихся дискурс-анализом (качество перевода этой книги, впрочем, оставляет желать лучшего): «Упреки – это термин, используемый, чтобы назвать «семейство» речевых актов, путем которых один человек поднимает вопрос о ценности, разумности или приемлемости действий другого человека <...>. Повседневные термины, которые используются, чтобы назвать упреки, включают (лексемы. – Г.К.) «критиковать», «делать выговор», «придираться», «обвинять», «ставить под вопрос чье-либо суждение или решение», «требовать объяснения» и «вступать в противоречия» [11. С. 147].

<sup>2</sup> В этом значении используется также термин «метаконцепт» [13].

при этом «затруднится **назвать** (выделено мною. – Г.К.) жанр собранных ею текстов «катастрофического дискурса» [7. С. 77–78].

Дискурсивный корпус традиции предсказуемо предстает разножанровым пространством. Принимая вторую точку зрения и опираясь на степень директивности (категоричности) и стереотипности подачи информации в текстах данного функционального типа, на нынешнем этапе исследования можно выделить в нем такие речевые жанры, как «передача эстетики традиции (категории прекрасного)»<sup>1</sup>, «передача этики»<sup>2</sup> традиции (категории долга, нормы), «передача мотивировки традиции (категории причины)»<sup>3</sup>, «передача технологий традиции (категории норматива)». В данном перечне директивность возрастает «слева направо», и поучения в текстах последнего жанра носят наиболее безапелляционный характер, так как отход от выработанной и утвердившейся технологии чаще всего влечет за собой немедленные негативные материальные последствия.

Вопрос об объеме и границах конкретного текста, воплощающего речевой жанр, с одной стороны, активно никогда не обсуждался, а с другой – все же стоит на повестке дня (см. работы Т.И. Стексовой, Н.В. Большаковой, Г.Г. Москальчук и др.). Закономерной кажется большая ясность границ письменных жанровых реализаций, где а priori строже соблюдается «информативная модель». Письменные тексты, подвергающиеся сегодня речеведческому анализу, нередко имеют значительный объем. В качестве же устных речевых произведений большинство авторов рассматривают микротексты (две-три реплики диалога). В принципе такой подход – это родимое пятно смежной с жанроведением (генристикой) теории речевых актов [16, 12]: ее сторонники работают прежде всего с «первичными», «элементарными», «одноактными» короткими высказываниями, не ставя вроде бы под сомнение существование речевых актов «больших форм». И хотя А. Вежбицкая, М.Ю. Федосюк, В.В. Дементьев, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова и др. подчеркивают, что дело не в количественной стороне и жанроведение должно сосредоточиваться на иных аспектах текста, безусловно, настала пора обратить внимание на жанровую специфику пространных континуитетов уст-

<sup>1</sup> Подробнее см. [15].

<sup>2</sup> Имя *этика* так же чуждо для рассматриваемого корпуса текстов, как и *традиция*. Кроме того, выделенный жанр однозначно и резко отличается от тех, которые функционируют в стереотипно понимаемом Н. Рис русском «моральном дискурсе»: «Ряд распространенных дискурсивных жанров можно отнести к преимущественно женской рубрике «об общественном порядке», фокусируемой на соблюдении правил поведения, с одной стороны, и на поддержании традиционной системы культурных отличий – с другой. <...> Русские часто говорили, что женщины с помощью сплетен, упреков, отчитываний, нотаций и других имеющихся в их распоряжении дискурсивных механизмов, а также через свои должностные посты (чиновницы, педагогические, медицинские) сдерживают и контролируют мужчин, остальных женщин и, разумеется, детей. <...> Часто женские упреки, порицания и наставления бывают построены так, что в них содержатся указания на определенные поведенческие нормы (а следовательно, и на желательность их выполнения)» [7. С. 133–134].

<sup>3</sup> Ср. позицию фольклориста А.Б. Мороза, который в 2004 г. вычленил специфический функциональный тип текста, назвав его «мотивировка этнографического факта»: «В сущности, мы имеем дело с особым жанром. <...> Тексты-мотивировки не столько объясняют его (этнографического факта. – Г.К.) истинную цель или происхождение, сколько интерпретируют исходя из сиюминутного понимания этнографического факта носителями традиции в целом, отдельными социальными, возрастными или половыми группами или просто индивидами. В ряде случаев мы имеем дело даже с импровизациями» [16. С. 175].

ной речи. Объективная трудность решения этой задачи обусловлена тем, что спонтанный устный речевой поток с его тематическими повторами, разрывами, лакунами и под. нелегко сегментировать на целостные смысловые участки с верифицируемыми границами.

4. **Запись** приведенного ниже довольно объемного (286 знаменательных слов) текста, который воплощает жанр передачи традиционной этики, сделана в 1974 г. в с. Гынгазово Шегарского р-на Томской обл. от Анны Ильиничны Головачевой (1912 г.р.). Два вопроса диалектологов и информация поясняющего характера даны в квадратных скобках. При переводе аудиозаписи в письменную форму отражены собственно диалектные и диалектно-просторечные явления фонетического (включая акцентуацию) и грамматического уровня, общерусские черты переданы в соответствии с нормами орфографии и пунктуации литературной подсистемы.

Текст для удобства его метаописания разбит на условные тематические фрагменты – участки, где сохраняется единство темы. Даже при отсутствии в нем явно эксплицированного зачина и концовки, т.е. утвердившихся в лингвокультуре инициальных и финальных формул, можно говорить о достаточной цельности его содержания.

*А я счас одна живу. А тут вся семья была раньше. Много нас, детей, было у родителей. И родители тут померли и две сестры. А тоды я с сестрой жила вдвое [вдвоём]. А таперь сестра в Томском живёт, это подыскался её какой-то старик из [села] Бабарыкина. А ему в Томском брат ли сын какой-то дом купил, то ли коператив, то ли ещё как-то. Вот её туды и позвал. Она на год старше меня, но чё ей не ехать, али дети её держали, али хозяйство како? Не было у её детей-то. Муж у её на фронте убитый. А она так и осталась одна. Последние время мы так и жили вдвое с ней.*

1-й тематический фрагмент

*[– А у вас детей тоже нет?] Мои дети поразъехались кто куда. Вот я и одна таперичка. Никому не нужная. Да, много кому я таперь нужная... А таперь стара. А так живу одна, уж и помирать Господь скоро заставит. Господи, скорей бы уж. Дети есь, да какой от их прок?*

*[– А почему вы говорите, что проку нет?] А хто куды разъехались. Разе оне спросят у меня басловения [благословения]? Нет, таперь не таки дети пошли, как раньше. Тоды во как родителей боялись! А этим разе охота со старой матерью жить? А раньше? Старики-родители жили до самой смерти со мною, а померли оне в [19]50-х годах. Мать раньше, а отец ещё долго потом-от-ка жил. А мои дети хто где. Аж страшно становится. По свету раскиданы, как кукушки. Младший сын в армии служит. Таперь уж скоро прийтть [должен]. А прийтть чё? Обженится, а хто ему запретит? Года подошли – женись. А другой сын на лектростанции в Томском работат.*

2-й тематический фрагмент

*Не-е, я на их жалуюсь, стара, вот и рассказую всё. Живёт сын хорошо, правда безденежно, да таперь все так в городе живут. Говорила ему: приезжай суды, корову заведёшь, свиней, да и жили бы припеваючи. А чё? Нет. Потому что сноха городска кака-то. Ехать в деревню не хотит. Она суды-то придет с ним на отбых и то боится переломиться. Мало что поможет [делать по хозяйству]. Хоть бы побелила в избе. А пол мыть начнёт – срам единый. Я уж ему говорила, что [она мне] говорит: «Мамаша, у нас какая-то палка», – там у их есь, вот они и моют палкой пол. С ума посживали люди. [И]ли может, я стара, сумасшедша становлюсь. Ну глаза бы мои не смотрели на их работу. На коленкав подзат – пол моет, хать моет, а то друге и этого не дождутся. А так чё? Живу. Изба у меня есь, дрова зимой есь, еда есь. И деньги государство за работу платит – 20 рублей.*

3-й тематический фрагмент

**5. Универсальные черты дискурса традиции.** Итак, носитель традиционной культуры предьявляет точку зрения и глубину осознания темы, приущую не теоретику, исследователю или эксперту, а «рядовому человеку», от чьего интереса почти всегда ускользает интерсубъективно разделяемая стабильная норма – иначе говоря, практикуемая часть традиции, актуальная на текущий день конфигурация ее элементов, ее нынешняя основа. Безусловность исполнения заставляет воспринимать эту часть как рутину. Привычное, обыкновенное, рядовое, постоянное, однообразное, стереотипное, стандартное почти не привлекает внимания и не становится предметом непрофессиональной рефлексии.

В зону непосредственного жизненного интереса и, как следствие, в фокус коммуникации регулярно попадают те звенья традиции, которые метафорически могут быть названы ближней периферией поля традиции. Такая практика вчерашнего дня еще вполне помнится, осознается, но уже не претворяется в жизнь. В результате коммуникативно разрабатывается лишь мотив «умаления», «ослабления», «исчезновения», «ухода» и даже «забвения» традиции или же ее «искажения», «нарушения», «разрушения». Наличный материал, собранный этнографами, фольклористами и диалектологами, заставляет предполагать, что для дискурса традиции не существует мотива творческого развития<sup>1</sup>, так сказать, мотива благотворной изменчивости: прежде всего в нем педалируется неизменность, стабильность, связанная, впрочем, с модулем «должного»<sup>2</sup>, но отнюдь не «наличного» состояния мира.

Дискурсивная практика передачи традиции сопровождается процессом конструирования идентичности субъектов дискурса во имя ее поддержания или изменения. Ролевая (интеракциональная) идентичность<sup>3</sup> отвечающего участника диалога оказывается двойственной: он предстает в своих собственных глазах более сведущим по отношению к вопрошающему собеседнику и одновременно выступает всего лишь «свидетелем», «передатчиком» истины (конструкция *расскажу всё* в 3-м тематическом фрагменте как раз эксплицирует роль «транслятора»), но не ее «знатоком», «источником». Эта же идентичность выводится и из имплицитной *а кто ему запретит?* (2-й тематический фрагмент). Дискурс традиции зиждется на той аксиоме, что подлинный знаток, равно как и источник традиции, никогда не наличествует в реальном бытии «здесь и сейчас». Для придания этим абсолютам высокого авторитета они исключены не только из конкретного акта трансляции, но даже из профанной «мы-группы» равных транслятору-рассказчику<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Показательно, что стабильность vs. вариативность традиции, ее ориентация на сохранение vs. развитие – это тема острой теоретической полемики во второй половине XX столетия, см. работы Э. Шилза, Ш. Айзенштадта, Я. Ассмана, П. Нора, А. Кребера, Э. Гидденса, С.А. Шандыбина, А.К. Байбурина и др.

<sup>2</sup> Семантические компоненты ‘должен’, ‘надо’, ‘необходимо’, ‘следует’, ‘надлежит’, ‘подобает’ представляют ситуацию не осуществленной в прошлом и не осуществляемой в настоящем.

<sup>3</sup> Единой типологии идентичностей нет. Здесь используется трехуровневая схема К. Тейси и Дж.С. Роблз [11]. Отечественные авторы сосредоточены главным образом на базовых идентичностях первого уровня, которые принято считать относительно стабильными от ситуации к ситуации (см. работы М.Н. Губогло, С.С. Савоскула, Г.И. Солдатовой и др.).

<sup>4</sup> Ср. записанные в разное время типичные высказывания, где авторы подчеркивают свою роль транслятора материала культуры, но не его знатока (записи извлечены из Среднеобского диалектного архива Томского госуниверситета): А.В. Серебrenикова (1901 г.р.): *Иван-Кунала, значит. А накануне*

Указанные моменты – *status rerum* для всего дискурса традиции в его жанровой диверсификации. Предстоит выяснить, каковы же черты, обнаруживающиеся собственно в жанре передачи этики в отличие от смежных жанров (см. п. 3), становящиеся сигналами жанровой принадлежности? Каковы, наконец, те признаки (параметры), что отделяют его от неоднократно к настоящему моменту проанализированных диалектологами меморатов? Последний термин покрывает тексты, близкие по своей содержательной ориентации, – это и изустные свидетельства очевидцев, и воспоминания, и автобиографии, другими словами, рассказы людей, некогда лично и эмоционально вовлеченных в описываемые события. Некоторая содержательная и формальная общность меморатов с приведенной записью ставит задачу резче очертить границы между этими функциональными типами текстов.

## 6. Жанровое своеобразие передачи традиционной этики.

**6.1. Концептуальная насыщенность.** Сама по себе вербальная трансляция традиции, безусловно, не исключает сосредоточенности участников на любом из ее звеньев от материальных средств и способов действий (обычаев) до идей и базовых ценностей, но заметной коммуникативной выделенностью отличаются основные концепты традиционной культуры, представляющие «крестьянские начала» русского мира. При этом они детерминированы не только бытием, но и бытом, не только экзистенциальными, сущностными, духовными, но и витальными, плотскими потребностями человека (см., например, работы Л.Г. Гынгазовой о картине мира носителя традиционной культуры В.П. Вершининой (1909–2004)).

В 2004 г. Г.Г. Слышкиным [13] была высказана мысль о «концептуальной насыщенности жанра»: миромоделирование, вершась в определенных жанровых рамках, чаще всего опирается на один-два системообразующих концепта и ряд конкретизирующих их частных. Независимо от этой идеи диалектологи, смотрящие на речевую эмпирию с иной стороны, неоднократно указывали на то, что «базовыми», «стержневым», «ключевыми» для диалектной коммуникации и особенно для жанра меморатов являются концепты ЖИЗНЬ и РАБОТА. Их статус косвенно доказывает и то обстоятельство, что они не только «мыслятся» и «переживаются», но обрели устойчивый этический компонент и ценностно ориентированы на фоне почти полного отсутствия в дискурсивной практике диалектоносителей метафизических концептов БЛАГО, ДОБРО, ДОЛГ, ЧЕСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, МОРАЛЬ и т.п. Стоит, впрочем, подчеркнуть: хотя концепт максимально эксплицируется в тексте, все же любой текст воплощает лишь «часть» или же «версию» концепта, обусловленную типом дискурса и жанра.

Итак, для анализируемой записи «образующими» являются концепты ЖИЗНЬ, РАБОТА и СЕМЬЯ. Именно они формируют ее содержательно-

---

*Аграфена-Купальница была. Пошто говорят так, не знаю.* (Кем. Юрг. Вар., 1970); П.С. Овсянникова (1909 г.р.): *Это ешио наши деды говорили, а мы это не знам.* (Кем. Юрг. Новором., 1972); В.П. Вершинина (1909 г.р.): *Волосья седь да страины да. Хожу как болудница. [– Так скажут, если без платка?] Ну, ну. Либо скажут «баба-яга». [– Это нечистая сила?] Чё-то так. Худь чё-то. [Так говорила мать:] «Болудница. Заплети хоть расчеши голову-то, как болудница!» А кака болудница – я не знаю.* (Том. Том. Верш., 1986); М.Е. Приходько (1931 г.р.): *Вот я даже не могу вам [это слово] чисто объяснить. Это вот отец бы покойничек был, он бы объяснил. А я-то всё путанно.* (Том. Колп. Сар., 1984).



тематическое ядро, при этом их текстовая реализация возникает благодаря совокупности значений целого ряда лексем. Столь многообразная репрезентация – признак важности для конкретного автора разворачиваемого концептуального содержания.

Постоянная апелляция к ЖИЗНИ характерна для всех тематических фрагментов текста. Планом выражения концепта, «входами» в него становятся оппозиции *жить* (11 актуализаций) и *помирать, смерть, убитый* (5 актуализаций). Частота обращений к РАБОТЕ и СЕМЬЕ соответственно нарастает / снижается от 1-го к 3-му фрагменту. Апелляция к концепту РАБОТА носит еще более дисперсный характер, чем в рассмотренном выше случае: эту функцию, помимо лексемы *работа*, реализуют единицы *хозяйство, от-дых, помогает*, а также номинации конкретных видов деятельности или ее объектов (*побелить, мыть, на коленках ползать, корова, свиньи*), которые устойчиво ассоциируются с трудом вообще или же с постоянными крестьянскими заботами. Номинация *семья* вновь актуализована лишь в самом начале текста, но оязыковляющие далее это концептуальное содержание 23 лексические единицы оказываются более «однотипными», поскольку все они репрезентируют слот 'члены семьи': *родители, мать, отец, дети, сестра, брат, сын, муж, мамаша* 'свекровь', *сноха*.

На первый взгляд выявленный «концептуальный набор» не позволяет говорить о различиях между меморатами и передачей этики. Принципиальным, однако, представляется факт обращенности заявленного жанра к еще одному ментальному образованию. Идеальное мироустройство в традиционной культуре связано с этическим концептом, который известен под именами СТАРИННЫЕ ЛЮДИ, СТАРЫЕ ЛЮДИ, СТАРИКИ [18]. К нему отсылает номинация *старики-родители*: ее возрастная маркированность во 2-м тематическом фрагменте на фоне нескольких немаркированных обозначений *родители* как раз «стирает» референцию к конкретным матери и отцу и актуализует концептуальное содержание 'носители смыслообразующей матрицы мира'.

**6.2. Категория времени.** Наряду с отсылкой к жанрообразующему концепту маркер «старики» высвечивает особую значимость для жанрово же обусловленной картины мира параметра времени. А в чем проявляется своеобразие трактовки времени на других уровнях организации данного текста?

Прежде всего, стоит вернуться к особенностям построения и подтверждения идентичностей автора. Бросается в глаза, что именно спекулятивное, умопостигаемое время, принимая личину возраста, позволяет нарратору создавать нетождественные идентичности. В границах текста его возрастное самоопределение резко видоизменяется, коррелируя с противопоставленными личностными аспектами «Я».

Пока он конструирует свою идентичность с детьми, исполняющими законы семейного общежития (*Много нас, детей, было у родителей; Старики-родители жили до самой смерти со мною*), социальный лик окружающей действительности соответствует матрице-традиции: *А тут вся семья была раньше; много детей; Тогда во как родителей боялись!* Смена коммуникативного фокуса приводит к тому, что нарратор выстраивает свою идентичность уже с возрастной когортой профанных стариков (*теперь стара; стара вот; уже и помирать Господь скоро заставит*), а состояние «жизненного

мира» осмысливается им как извращенное, нарушающее разные – а может быть, все? – аспекты традиции: *одна таперичка; живу одна; никому не нужная; рэзе охота со старой матерью жить; рэзе оне спросют у меня басловения*.

Весьма показательна настойчивая (дважды во 2-м и дважды в 3-м тематических фрагментах) актуализация темпорального самоопределения *старая*, хотя на момент записи рассказчику нет 62 лет, т.е. «старость» в данном случае – это ситуативная оценка, опирающаяся, впрочем, на каноны традиционной культуры<sup>1</sup>. Согласно им именно старость обуславливает накопленное духовное богатство – знание и опыт, именно старость дает право (эту установку культуры прямо выражает поговорка: *чем старше, тем правее*) учить и поучать, т.е. передавать знания и опыт молодым<sup>2</sup>. А в определенных обстоятельствах право оборачивается своей противоположностью, превращаясь в нравственный долг. Автор провозглашает максимум соблюдения этой нормы: *стара, вот и рассказую всё*.

Жанрообразующий мотив, который разрабатывает транслятор традиции, – это обусловленное временем изменение, искажение тех нравственно аргументированных обычаев и норм межпоколенческих взаимоотношений, которые образуют этическую категорию «долг». В крестьянской семье эта трансформация коснулась не только младшего поколения (сын, младший сын, дети, сноха – это основные субъекты отрицательно оцениваемых новаций), но даже ровесников нарратора, входящих в старшую возрастную когорту (сестра).

Безусловно, в дискурсивных практиках роль категории времени не исчерпана построением идентичностей субъектов и объектов коммуникации. Временная перспектива диктума, по мысли Т.В. Шмелевой, – это один из тех параметров, которые и формируют, и позволяют оценивать жанровую специфику нарратива (не отменяя, впрочем, методического посыла, что выделение жанра должно вестись по комплексу признаков).

Итак, в меморатах если не господствует однозначно, то побеждает перфектная перспектива. В результате для текстов этого функционального типа тривиальны нарушения хронологической последовательности, но в них нет регулярного противопоставления темпоральных срезов действительности на содержательном уровне. Жанровый канон диктует интерпретацию прошлого, былой жизни как нелегкой (почти всегда), трагической (часто) или же ничем не отличающейся от такого же полного испытаний настоящего. Нынешняя реальность может и вовсе оставаться за рамками актуального интереса нарратора, хотя именно она задает систему оценок<sup>3</sup>.

Кроме того, само по себе воспоминание и «рассказывание» предполагает, что рассказчик помимо ЖИЗНИ и РАБОТЫ сосредоточен на событийных концептах. Он обращается к былым событиям, происшествиям, случаям, ис-

<sup>1</sup> По данным этнографов XIX в., в Сибири родители считались стариками после свадьбы старшего сына, то есть примерно с 40-летнего возраста для мужчин и еще более раннего для женщин [19].

<sup>2</sup> Направление такой передачи (субъектно-объектные отношения в процессе инкультурации) положено в основу широко известной классификации типов культуры М. Мид.

<sup>3</sup> На уровне теоретической рефлексии аксиома о постоянном конструировании прошлого исходя из условий и задач настоящего введена модернизмом [20, 21].

ториям, оказиям, казусам, эксцессам, определившим хоть и типичный, но все же индивидуальный рисунок его судьбы. А поскольку для событий как динамичных процессов значимы длительность и локализация во времени, в нарративы неизбежно вводится множество разнотипных и разноструктурных лексических темпоральных «ориентиров», «привязок», «вех» и пр. Их спектр детально изучался не только лингвистами<sup>1</sup>. Помимо циклических календарных и конфессионально-культурных маркеров времени (типа «в октябре», «на масленицу», «перед родительским днем»), в меморатах значительная доля приходится на маркеры событийные. В их роли выступают номинации значимых для «мы-группы» рассказчика исторических событий общенационального масштаба, уникальных бытовых девиаций и стереотипных узлов биографической схемы. Такие маркеры даже при их несовпадении у представителей разных «мы-групп»<sup>2</sup>, т.е. при определенной индивидуализации, позволяют достаточно точно локализовать диктумное содержание в структурированном континууме прошлого<sup>3</sup>.

Для жанра передачи этики, напротив, содержательно-тематически релевантна не событийность (читай: уникальность, неповторимость) бытия, а заполнение, «оплотнение» мироздания материальными и нематериальными объектами (вплоть до идеальных символических форм, обычаев и порядков), несущими на себе печать человеческой активности, телесной, социальной и духовной жизни людей. Внимание говорящего направлено на константное и неустранимое противостояние темпоральных модусов реальной действительности. Ими становятся образцовое минувшее vs. сущее ныне, однако неполноценное, ущербное в своем существовании, так как наличествовавшие некогда объекты теперь отсутствуют либо их свойства и качества претерпели необратимое изменение. В силу того, что модус будущего вообще исключен из данной модели мира, оппозицы оказываются комплементарными<sup>4</sup>, как, на-

<sup>1</sup> Широко известная работа П.А. Сорокина и Р.К. Мертон «Социальное время: опыт методологического и функционального анализа» была опубликована в 1937 г., и с тех пор интерес к этому вопросу обоих авторов и их последователей не затухал.

<sup>2</sup> Ср. свидетельство В.А. Тишкова, директора Института этнографии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая. На примере своей семьи он сопрягает событийные маркеры времени с групповой, коллективной и поколенческой идентичностью использующих их россиян: «Моя бабушка Мария Михайловна Тягунова, родившаяся и прожившая всю жизнь в маленьком уральском городке и не знавшая грамоты <...>, обращаясь к давнему личному прошлому, почти не использовала годы или даты, а чаще говорила: «это было еще до переворота», «это было после переворота». <...> Для поколения моих родителей такой знаковой отсылкой было «до и после войны». С годами ушла и эта важнейшая отсылка ко времени. Прежде всего ушла не потому, что изменилось отношение к самому событию, а потому, что выросло поколение, которое войну не пережило и не просчитало через нее ход собственной жизни» [22. С. 15]. Сопоставимые данные для различных возрастных когорт в США приведены Г. Шуманом и Ж. Скоттом [23].

<sup>3</sup> Типичные примеры из Среднеобского диалектного архива: *Браття его ешио до революции здесь жили; Жила до перевороту в батрачках; Школу открыли до колхозов; Я неграмотна, [если бы] отец-то был живой, в германску [Первую мировую войну] не погиб, я бы училась; В городе Остроге во время войны заготовителем на коперции был. У меня в уме арифметика; После японской войны переселение [столытинское] назначилось; В Новосибирске училась после школы; Месяц, бедный, однако не прожил после свадьбы; Здесь начала работать. Я до замужу всё ходила по людям; Мнук, ага. Ешио до армии женился, здесь приезжал, познакомились, до армии женился и в армии служил; Видел-то [как делают паузок], ешио в армию не ходил; Он [дед] остался токо с матерью. Ну, после пожара; Она у меня после болезни пять лет не говорила. Пойди пойми, что ей надо.*

<sup>4</sup> Постулат о членении области бессознательного через дуальные оппозиции обоснован К. Леви-Строссом. После работ структуралистов комплементарная дуальность считается универсальным спо-

пример, верх и низ, добро и зло, чет и нечет, и упоминание имени каждого из них непреложно вводит импликацию другого. В жанре передачи этики обозначения временных срезов прошлого и настоящего актуализуют друг друга.

Стандартными лексическими показателями времени при этом служат максимально обезличенные, релевантные для любого нарратива единицы: в представленном тексте это *раньше*, *тоды* и *таперь* / *таперичка*. В определенном смысле их можно считать показателями темпорального дейксиса. Интересно, что автор практически не использует дейктический показатель *сейчас* (он актуализован только в первом предложении). Вероятно, это проявление своеобразия конкретной коммуникативной личности, поскольку в дискурсивном корпусе традиции частотность единиц *сейчас* / *счас* высока. Вопрос о функциональном равноправии *теперь* и *сейчас* не так прост. Дейктическая функция показателя *сейчас* не вызывает дискуссий. *Теперь* же, по мнению И.А. Мельчука [24], обозначает время события всегда в сопоставлении с некоторым событием в прошлом, т.е. основная функция у *теперь* текстовая. Таким образом, дискурсивную интерпретацию движения времени и последствий этого процесса автор сознательно или интуитивно поддерживает и на уровне семантической системы языка.

В приведенной записи *раньше*, *тоды* и *таперь* / *таперичка* 11 раз выполняют функцию маркирования широкого временного среза, целой эпохи, особенно часто встречаясь в 1-м и 2-м тематических фрагментах на всего лишь 2 конструкции (*мать раньше [умерла]*; *таперь уж скоро прийтцить [должен]*), которые не решают этой задачи.

Невостребованность более точной локализации обусловлена тем, что и «раньше»-эпоха, и «теперь»-эпоха выступают в качестве неструктурированных, целостных континуумов, говорящему важно лишь указать на них. Используемые маркеры, будучи универсальными, способны обобщать частный темпоральный опыт каждого рассказчика, они снимают индивидуальность точки зрения говорящего и, следовательно, придают выстраиваемой им модели мира стереотипный (истинный и всеобщий) характер. По своей природе стереотип «всегда стремится обозначить бытовую ситуацию как субстанциональную, а субстанциональную опустить до уровня бытового наблюдения» [25. С. 14].

**6.3. Категории движения и пространства.** Указанная высокая частотность взаимообусловленных маркеров-оппозитов высвечивает характерные темпоральные ощущения транслятора традиции. Вопреки распространенным утверждениям о доминировании в традиционной культуре циклической модели времени, в анализируемой записи движение времени (особенно отчетливо его эксплицирует конструкция *года подошли* из 2-го тематического фрагмента) представлено как линейное. Отнюдь не возвращаясь на круги своя, время приводит в такое же необратимое движение и заполняющие мироздание элементы (*не такц дети пошли*). Как видим, пространственно-

---

собом не только адаптации в мире, но и описания мира. Широкий круг базовых дуальных оппозиций, извлеченных из мифологии, фольклора, топонимики и пр. (см. работы В.В. Иванова, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского, Т.В. Цивьян, С.М. Толстой, Е.Л. Березович и др.), дополняется многочисленными примерами, представленными в «высокой литературной традиции», например: *Иже нѣсть со мною, на мя есть: и иже не собирает со мною, расточает* (Мф. 12, 47; Лк. 11, 58) и т.д.

временная метафорика формирует еще один мотив текста – разделение, разобщение прежде единого микрокосма семьи и рассеяние ее членов (*поразьехались; раскиданы*). Разрастание пространства до масштаба Вселенной (*по свету раскиданы*) плюс движение времени и движение объектов (*чѐ ей не ехать; кто куды разъехались*) – смысл двух первых тематических фрагментов записи.

Передвижение членов семьи в физическом пространстве оказывается, подобно движению времени, однонаправленным: оно нацелено вовне, из микрокосма своего дома, устремлено вдаль от говорящего. При описании им обратного движения реальная модальность конструкции корректируется лексически: *ехать в деревню не хотѣт, скоро приѣхать [должен]*.

Перемещение людей в чужое пространство приводит к опустению (в тексте четырежды эксплицирована микротема одиночества (*одна*) в противовес прежнему состоянию мира (*много нас было*)) и запустению своего. Полнота бывшего «жизненного мира» 1-го тематического фрагмента прямо противопоставлена его нынешнему опустошению, когда в финале 3-го фрагмента, заключающего весь текст, нарратор перечисляет наличные в «теперь»-эпоху «оплотнители» своего микрокосма: *Живу. Изба у меня есь, дрова зимой есь, еда есь. И деньги государство за работу платит – 20 рублей*.

Выбираемые нарратором маркеры пространства вновь лишены индивидуальных черт. Ими служат либо имена постоянных топосов-оппозитов, базовых для смежного фольклорного дискурса (*в деревню* vs. *в городе*), где они обозначают не только физическое, но также стереотипное социальное и символическое пространство, либо универсальные дейктические показатели (*тут, суды* vs. *там у их*). Пространство, в котором в «теперь»-эпоху пребывает сын-отступник в окружении чужаков, обозначено маркером *там*, который, казалось бы, не может уже быть редуцирован к более элементарному дейктическому показателю. Однако *там* способен задавать референцию и к пространству «инобытия» [26. С. 51]. Нарратор усиливает чуждость этого «иноного», «инакого» бытия (которое отличается даже принятым способом мыть пол), обезличивая индивидуальные качества порожденных им и находящихся в его пространстве объектов: *сноха городска́ кака-то, какая-то палка*. «Дискредитирующая» функция определителя *какой-то* вскрыта и подробно рассмотрена А.Б. Пеньковским [27].

Таким образом, за исключением конкретно-референтных обозначений *Томский* 'Томск', *Бабарыкино* и *1950-е годы*, обеспечивающих географическую и историческую привязку диктумного содержания, пространственно-временная система координат в анализируемом нарративе приложима к «миру вообще». В меморатах же пространство, как и время, предстает индивидуализированным, личностно окрашенным.

**6.4. Жанровое миромоделирование.** В́идение мира, его целостный образ, как известно, возникает в результате наложения онтологической, пространственной и темпоральной проекций бытия. В жанрово обусловленных картинах мира они, оставаясь взаимосвязанными, оказываются, вероятно, не вполне равнозначными. Например, создаваемый в рамках жанра передачи традиционной этики образ действительности «развернут» к человеку темпоральной проекцией, так как феномен традиции во всех его ипостасях ориен-

тирован на когнитивное доминирование времени. Одной из функций традиции как регулятивного механизма является снятие негативных для человека последствий непрекращающегося отчуждения «жизненного мира», т.е. возникновения в изменившейся действительности новых структур и отношений, которыми и определено время.

Обратимся еще раз к тексту: обретение бытия в «теперь»-эпоху новации настолько дискомфортны для автора, что трактуются как тотально не соответствующие идеалу. Хорошей жизни, жизни в довольстве, которая описывается в ирреальной модальности желаемого (*да и жили бы припеваючи*), мешает отступничество других – или всех? – людей, включая семью рассказчика, от структур и отношений, которые репрезентировали этические нормы, существовавшие в «раньше»-эпоху, точнее сказать, приписываемые ей (поскольку истинность этой референтной ситуации остается за скобками нашего анализа).

Ключевой в этом смысле предстает антитеза в 3-м тематическом фрагменте текста: *С ума посжидали люди. [И]ли, может, я стара, сумасшедшая становлюсь*. Она выражает отношение нарратора к обновленному миру через образ наличествующего в «теперь»-эпоху разлада реальности со здравым смыслом не только в рациональном, но и в моральном аспекте, поскольку трезвое, практичное восприятие окружающей действительности в русском миропонимании тесно сопрягается с нравственностью. И диалектизм *посжидали с ума*, и общерусский ЛСВ *сумасшедший*<sup>3</sup> описывают предполагаемые конфигурации противостояния нарратора и «мира в целом». Полисемант *люди*, обозначающий антагонистов говорящего, охватывает несколько референтных полей. МАС (с пометой «разговорное») выделяет его значение ‘другие, посторонние лица’. В диалектном дискурсе характер противопоставления себя другим передают маркеры конкретизации, из которых наиболее частотными являются *добрые и старые, старинные*. Немаркированная же форма *люди* в некоторых контекстах<sup>1</sup> приобретает заметный оттенок местоименного значения ‘все’ (ср. семантику коммуникативных диалектно-просторечных клише и паремий *как люди / не как люди; у людей; по-людски / не по-людски; перед людьми (от людей) стыдно; что людям, то и нам*).

Независимо от того, какое из двух найденных объяснений сложившейся ситуации – окружающие утратили нравственно-рациональные ориентиры vs. такие ориентиры утеряны самим нарратором – является истинным, в этой обновленной чуждой действительности человек испытывает тревогу, неуве-

<sup>1</sup> См. типичные примеры из Среднеобского диалектного архива: *Люди-то уж не закрывают [теплицы], а у меня молодцы изурцы, ещё не цветут. Вот. Закрываю; Себя-то не вижу, а за людьми-то замечаю; Ну собирались все деревни, близкие деревни собирались в гости [на престольный день], люди готовились: варили, стряпали; Меня выбирало общество, послали туды. Там восемь дён жили. Четыре рубля пять копеек на все посёлки. Обоюдно. Люди доверялись на мою честность; Люди век в обласке [самодельной долбленой лодке] сидят. Наше дело. Своя [лодка] лучше глянется. Век на рыбалке. Помалёчку... Рыбачим; Я не умею ворожить. Люди-то воруют. Пойдут, в снег падают. Один раз ворожили, пшмы через заплот [забор из толстых бревен] кидали; Как выпьет, так и напекает всяки скверны песни. Сама про себя и то песенку пропела, кода промежду себя собрались. Кто только чё знает, люди рассказывают, такие, скоромненькие [непристойные]; Вот взять, скажем, старинны праздники. Сейчас как с ума сошли, то ли уже это блаженствуют люди. Троица – раньше в Троицу на могилки не ходили, не было принято, а только в родительский день... А счас, как Троица, так идут, потому что к этому ешиц и пьянство.*

ренность, опасения, боязнь (*аж страшно становится*). Таким образом, стресс, эмоционально значимый кризис индивидуального опыта, порожаемый необратимостью линейного времени, постоянным, непрерывным становлением нового (*стара, сумасшедша становлюсь; страшно становится*), инициирует жанр передачи традиционной, т.е. устоявшейся, этики.

Фактором, который поддерживает функционирование данного речевого жанра, является рассогласование должного и наличного. Должное, или идеал, не наличествуя в реальности, не существуя вне дискурсивного развертывания, в жанровой модели мира<sup>1</sup> помещено в несуществующую «раньше»-эпоху. И идеал, и бывшее равно пребывают лишь в сознании человека.

Темпоральная область «раньше» не только не нуждается в конкретизации и референции, – «раньше» враждебно ей, поскольку целиком мифично, спекулятивно, нереферентно, оно не имеет отношения к историческому времени. «Раньше»-мир – это именно жанровый образ действительности, тех ее выхваченных из неделимой целостности жизни и помещенных в фокус эмпатии черт и сторон, которые кажутся носителю традиции наиболее существенными, важными. Однако любое описание былой реальности – это модель, условность которой высока даже в «дескриптивно безупречных» нарративах об историческом времени.

Как таковая, жанрово обусловленная концепция мира (подобно самому жанру) есть нематериальный инвариант. Материализуются же в конкретных текстах ее бесчисленные варианты, воплощающие один и тот же тип трактовки каких-то сторон бытия, например восприятие времени. Содержательно мемораты и передача традиционной этики равно обращены к минувшему, вместе с тем его жанровые интерпретации разительно отличаются. В картине мира, выстраиваемой меморатами, прошлое всегда исполнено испытаний, невзгод, потрясений, тягот, лишений и утрат. (Интересно, что такую трактовку временных отрезков репрезентируют концепты ЛИХОЛЕТЬЕ, ГОДИНА, совершенно чуждые дискурсивной практике носителей диалекта.) В текстах же, транслирующих традиционную этику, картина былого мира предстает совсем иной: «раньше» – эпоха выступает в качестве нравственного идеала, с невероятной точностью определяемого словарем В.И. Даля как «образец-мечта». Этот «вымечтанный» мир создается инверсией всех аморальных, с точки зрения автора, проявлений сегодняшней действительности. На данную особенность неинституциональных дискурсов об ушедшем времени обращает внимание Ф. Анкерсмит [29]: начиная с модернизма прошлое в гораздо меньшей степени внутренне взаимосвязано с этикой, с нравственными целями и идеалами в профессиональной (теоретической) рефлексии, чем в обыденном представлении о нем.

---

<sup>1</sup> Еще в 2001 г. Ст. Гаيدا сформулировал положение, которое спустя полтора десятилетия кажется аксиоматичным: «Жанры функционируют как своего рода манифестации картин мира, сформированных в долгосрочном историческом процессе трансформаций социальной реальности и культуры, как их отражение и одновременно инструмент их активного формирования. Каждый жанр способен охватить определенные стороны действительности, каждый обладает присущими ему правилами отбора, формами взгляда на мир и понимания его и имеет определенные возможности с точки зрения широты понимания и глубины проникновения» (цит по: [28. С. 40]).

**7. Синкретизм жанра передачи традиционной этики и жанровые границы.** Наконец, обратимся к вопросу о лабильности выделенного функционального типа текстов. Очевидно, что принципиальная задача определения границ того или иного речевого жанра, а также потенциала и пределов жанрового варьирования остается нерешенной.

Разделяя широко признанный тезис, что человек по мере овладения языком и, в терминах Л. Вайсгербера, по мере «врастания в языковое сообщество» усваивает не только грамматику языка и его словарь, но и основной репертуар жанров речи, выработанных данной лингвокультурой, при этом многие отечественные и западные авторы говорят о «полевой природе» речевых жанров (В.И. Карасик, Л.С. Бейлинсон), возможности перетекания традиционных жанров «друг в друга в разных направлениях» (Т.В. Цивьян), «протечности» жанров (Н. Рис), их «полиморфизме», «гибридности» (М. Войтак) и т.д. Мы опираемся на сформулированное М. Войтак положение: «Если жанр понимается как набор интересубъектно функционирующих правил, оформленных исторически и культурно и определяющих построение текста, или же как класс текстов, организованных аналогичными правилами, бытующих к тому же в определенном дискурсе (связанных с типичной коммуникативной ситуацией), то для некоторых более сложных жанров должно быть зарезервировано понятие синкретичного произведения, подвижной формы или жанрового гибрида» [28. С. 41–42].

В анализируемой записи нельзя не заметить иножанровое «вкрапление» и некоторые маргинальные, кроссжанровые черты. Прежде всего это касается актуализации в начале 3-го тематического фрагмента перформатива *я на их жалуюсь*<sup>1</sup>. В результате задача жанровой квалификации материала имеет два решения.

(1) Перед нами текст, представляющий собой последовательную реализацию ряда самостоятельных речевых жанров – по крайней мере, передачи традиционной этики и бытовой (неофициальной) жалобы.

(2) Это – единая сложная жанровая структура, которая отчасти закамуфлирована субструктурой (или субструктурами). Прибегая к эвристической метафоре, можно сказать, что она отчасти скрыта за «иножанровыми шумами». Найденное М. Войтак удачное терминологическое обозначение «подвижная жанровая форма» применительно к нашей проблематике целесообразно понимать как форму с нестабильной удельной долей «иножанровых шумов»<sup>2</sup>. Именно дискурсивный подход, т.е. учет экстралингвистических факторов, диктует квалификацию данного текста как целостного воплощения речевого жанра передачи традиционной этики.

Второе решение выглядит более оправданным. Дело в том, что феномен речевого жанра предстает не только в качестве набора правил и класса тек-

---

<sup>1</sup> О некоторой дискуссионности перформативного статуса предиката *жалуюсь* см. [30].

<sup>2</sup> Анализируемый текст представляет собой реакцию информанта на стандартную провокацию диалектолога: «Расскажите о том, как живете / расскажите о своей жизни». Хорошо известно, что полученные ответы, составляющие сегодня значительную часть материалов отечественных диалектных архивов, были обусловлены различными интенциями, они демонстрируют несовпадающие коммуникативные тактики, реализованные в тех или иных жанрах с примесью неоднородных «иножанровых шумов». Спектр указанных расхождений нельзя назвать широким, но он наличествует.



стов, в которых они реализованы. Кроме того, жанр – это исследовательский конструкт, инструмент, предназначенный для анализа речевой эмпирии. Как и всякая модель, он по определению огрубляет действительность, снимая многообразие ее частных, нередко противоречащих друг другу свойств и проявлений, но позволяет высветить неочевидные связи ее элементов и их сочленений, комбинаций.

С учетом сказанного вернемся к актуализации перформатива *жалуюсь*. Согласно концепции Дж. Остина говорящий, называя данную иллокутивную цель, автоматически совершает и речевой акт, а теория речевых жанров усматривает здесь реализацию речевой тактики или даже речевого жанра «жалоба».

Вместе с тем очевидно, что в русской лингвокультуре ныне функционируют речевые жанры с омонимичными названиями «жалоба», которым свойственны разные адресаты и несовпадающие коммуникативные (иллокутивные) цели авторов. Цель «жалобы-1» (условно «официальной» жалобы) – довести информацию о нарушении прав или интересов автора до лица, которое правомочно исправить ситуацию, и потребовать от него необходимых действий. Этот жанр социально-правового институционального дискурса, входящий в его жанровое поле вместе с обращениями и требованиями, не имеет отношения к предмету нашего исследования. «Жалоба-2» («бытовая» жалоба), сообщая о прискорбном – прежде всего, с точки зрения нравственности – положении дел лицу, которое способно лишь выразить искреннее или фальшивое сочувствие и в соответствии с этическими нормами обязано сделать это, нацелена на достижение эмоциональной разрядки. Социальная интеракция в данном случае призвана содействовать субъективному психологическому эффекту, самоидентификации участников дискурса в качестве носителей морали, воссозданию и даже «пересозданию» некоторых аксиом этики, но никак не изменению объективных обстоятельств. На данном основании «фамильным сходством» с «бытовыми» жалобами обладают сетования, литании<sup>1</sup>, ворчание, брюзжание, порицание, осуждение, обвинения.

Далее принцип познания тождества в различии приходится «переворачивать», рассматривая теперь различия сходного<sup>2</sup> для выявления сущности «иножанрового шума» и степени его влияния на жанровую структуру. Жалобу, литанию и передачу этики на нынешнем уровне исследования материала можно дифференцировать по следующим признакам.

Прежде всего, жалоба предполагает равенство позиций «я» и «мы», иными словами, автор текста, выражая отрицательную оценку чьих-либо поступков или некоторого положения дел, доносит до адресата свою точку зрения или «мы-позицию». Жанрообразующий мотив жалобы – противостояние мо-

---

<sup>1</sup> Данное терминологическое обозначение, которое в рамках христианской богослужебной практики обозначает молитву, состоящую из повторяющихся воззваний, предложено Н. Рис для специфического, по ее мнению, русского речевого жанра, в котором человек излагает «жалобы, обиды, тревоги по поводу разного рода неприятностей, трудностей, несчастий, болезней, утрат, а в конце произносит какую-либо обобщенно-фаталистическую фразу или горестный риторический вопрос (например, *ну почему у нас все так плохо?*). Завершить литанию может и тяжкий вздох, выражающий разочарование и покорность судьбе» [7. С. 160].

<sup>2</sup> Так, Н.В. Орлова [31] проводит границу между обвинением и осуждением на основании истинности референтной ситуации, ее монособытийности / полисобытийности.

рально правой стороны и ее антагониста, и здесь вновь не исключается равенство позиций «он» и «они».

Литания всегда транслирует взгляды «мы-группы»: «Начиная рассказ о личных проблемах или бедах в 1-м лице единственного числа, человек вдруг переходит на 1-е лицо множественного числа и начинает оплакивать «наши» трудности, имея в виду всю Россию, или всю интеллигенцию, или весь народ и т.д.» [7. С. 164]. Логично полагать, что предназначение «мы-позиции» в этом жанре – подчеркнуть стереотипность (вос)создаваемой нарратором модели мира. Миромоделирование снимает неизбежные различия между конкретными людьми, составляющими «всю Россию», «весь народ» и даже более узкую категорию «вся интеллигенция». При этом центральным, жанрообразующим мотивом оказывается тотальное противопоставление этических полюсов. Их воплощают не отдельные индивиды, а социальные страты: аморальная власть всех уровней – «они» и носитель морали народ – «мы».

Анализируемая запись, напротив, демонстрирует не просто преобладание «я-позиции», а ее безусловную реализацию через рассмотренную антитезу «нарратор vs. мир в целом». Разумеется, можно допустить, что это еще одно проявление своеобразия коммуникативной личности, дискурсивной стратегии конкретного автора и в текстах данного жанра, созданных другими рассказчиками, абсолютизация «я-позиции» будет смягчена, но вряд ли стоит ожидать ее принципиальной трансформации. Стереотипность создаваемой жанровой модели мира достигается не посредством выхода в «мы-позицию», а через использование универсальных маркеров времени и пространства. Самодовлеющим этическим абсолютом (идеалом) оказываются «раньше»-эпоха и ее представители. Финал рассмотренного нарратива также весьма показатель: *живу*. Автор вновь идентифицирует себя в качестве наследника традиционной этики: жить, преодолевая многообразные трудности и испытания, – это тоже долг, причем гендерно окрашенный, вписанный в широкий русский культурный контекст женского долготерпения и самопожертвования.

Еще одним сигналом жанровой специфики сравниваемых типов текстов вновь становится характер концептуализации времени. События и факты, описываемые в жалобе, как правило, локализованы в недавнем прошлом. Психологически оно выступает частью нескончаемого настоящего, которое не имеет границ и в котором только и может существовать человек. Иными словами, жалоба опрокинута в непреходящую повседневность, несмотря на грамматическую оформленность глаголов в ее текстовой реализации. Литания эксплицирует позицию «над временем», она воспроизводит стереотипы мировосприятия, помещая их в контекст атемпоральной статичной вечности. В текстах этого функционального типа обязательно задействованы не только операторы всеобщности *все, всё*, но и их темпоральный «подвид» *всегда, постоянно, никогда*. В картинах мира, предъявляемых обоими жанрами, время самотождественно и неподвижно. И только создаваемая жанром передачи этики модель мира конституирована однонаправленным и неустранимым движением времени. Этот мир принципиально изменчив, и в «теперь»-эпоху он отличается от того, каким был в «раньше»-эпоху. Постоянна только оценка данных темпоральных ипостасей, навязываемая автору жанровым каноном: «раньше» – это не ступень к «теперь», а его жесткий антагонист. В дру-

гих коммуникативных обстоятельствах в жанре меморатов интерпретация и оценка тех же срезов времени оказывается, как правило, зеркально противоположной.

Итак, традиция аккумулирует опыт самопознания и самовыражения некоторой группы (ее величина может варьировать от семьи до этноса), опыт ее саморегуляции. Этика как составляющая «материала традиции» – это овеществленный результат поисков и осознания ключевых экзистенциальных смыслов, воплощенных в концепты, идеалы, нормы, принципы, императивы. Их формирование – процесс не одномоментный, и моральное существование человека невозможно за пределами традиции, так как мораль не может создаваться заново, с нуля каждым следующим поколением. Кроме того, этика не транслируется в полном объеме через включение новых поколений в предметно-практическую деятельность. Будучи сущностью нематериальной, этика нуждается в опосредующих инструментах. Одним из них становится дискурс.

В силу сказанного следует полагать, что в дискурсивном корпусе традиции жанр передачи этики занимает ключевое положение и имеет необозримую историю. Чем шире расхождение реальности с моральными идеалами, тем, казалось бы, более востребованной становится дискурсивная практика трансляции этики. Вместе с тем своеобразие условий порождения подобных текстов состоит в том, что они всегда являются откликом на дискурсивно же выраженный запрос. Инициатива должна идти от взыскующей ответа стороны.

### *Литература*

1. Шютц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия // Мир, светящийся смыслом. М., 2004. С. 7–50.
2. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004. 560 с.
3. Касавин И.Т. Знание и коммуникация: к современным дискуссиям в аналитической философии // Вопр. философии. 2013. № 6. С. 46–57.
4. Большакова Н.В. Взаимодействие дискурсов в диалектном тексте // Вестн. Новгород. ун-та. 2009. № 54. С. 7–10.
5. Большакова Н.В. К вопросу о жанрах диалектной речи // Язык в пространстве речевых культур. К 80-летию В.Е. Гольдина. Москва; Саратов, 2015. С. 21–26.
6. Калиткина Г.В. Диалектная концептуализация традиции // Картины русского мира: метафорические образы традиционной культуры. М., 2014. С. 15–63.
7. Рис Н. Русские разговоры: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М., 2005. 368 с.
8. Тарасов Е.Ф. Место речевого общения в коммуникативном акте // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977. С. 67–95.
9. Дементьев В.В. Теория речевых жанров. М., 2010. 600 с.
10. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 421 с.
11. Трейси К., Роблз Дж.С. Повседневный разговор: Строение и отражение идентичности. Харьков, 2015. 448 с.
12. Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Русский анекдот как текст и как речевой жанр // Русский язык в научном освещении. 2002. № 2 (4). С. 194–210.
13. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2004. 41 с.
14. Дементьев В.В. Актуальные проблемы непрямой коммуникации и ее жанров: взгляд из 2013-го // Жанры речи. 2014. № 1–2 (9–10). С. 22–49.
15. Калиткина Г.В. Трансляция традиции в диалектном дискурсе // Библиотека журнала «Русин». 2015. № 3. С. 167–182.

16. Мороз А.Б. Народная интерпретация этнографического факта // Язык культуры: семантика и грамматика: К 80-летию со дня рождения акад. Н.И. Толстого. М., 2004. С. 174–182.
17. Вежбицкая А. Речевые жанры // Жанры речи. Вып. 1. Саратов, 1997. С. 99–111.
18. Калиткина Г.В. Объективация традиционной темпоральности в диалектном языке. Томск, 2010. 296 с.
19. Любимова Г.В. Возрастной символизм в культуре календарного праздника русского населения Сибири. XIX – начало XX в. Новосибирск, 2004. 240 с.
20. Рюзен Й. Может ли вчера стать лучше?: О метаморфозах прошлого в истории // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. М., 2003. Вып. 10. С. 48–65.
21. Лоуэнцаль Д. Прошлое – чужая страна (1985). СПб., 2004. 624 с.
22. Тишков В.А. Восприятие времени // Этнографическое обозрение. 2002. № 3. С. 14–24.
23. Шуман Г., Скотт Ж. Коллективная память поколений (1989) // Социологические исследования. 1992. № 2. С. 47–60.
24. Мельчук И. Семантические этюды. I. ‘Сейчас’ и ‘теперь’ в русском языке // Russian linguistics. 1985. Vol. 9, nos. 2–3.
25. Силантьев И.В., Шатин Ю.В. Дискурс и стереотип // Критика и семиотика. 2014. № 1. С. 10–17.
26. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени, восприятия). М., 1994. 344 с.
27. Пеньковский А.Б. О семантической категории «чуждости» в русском языке // Проблемы структурной лингвистики. М., 1985. С. 42–63.
28. Войтак М. Генология обиходных текстов // Жанры речи. 2015. № 1 (11). С. 38–50.
29. Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков. М., 2003. 360 с.
30. Икрабаева М.В. Речевые акты и речевые жанры: соотношение понятий // Вестн. Башкир. ун-та. 2010. Т. 15. С. 636–640.
31. Орлова Н.В. Жанры разговорной речи и их «стилистическая обработка»: к вопросу о соотношении стиля и жанра // Жанры речи. Саратов, 1997. Вып. 1. С. 51–56.

**“OLD I AM, SO KEEP TELLING EVERYTHING”: THE DISCURSIVE CORPUS OF TRADITION AND THE GENRE “COMMUNICATION OF TRADITIONAL ETHICS”**

*Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*, 2016, 4(42), 22–43. DOI: 10.17223/19986645/42/3

Galina V. Kalitkina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: dasty2@yandex.ru

**Keywords:** tradition, traditional culture, dialect, discourse, speech genre, ethics.

The article discusses the discursive corpus of tradition that produces ideal values, norms, imperatives orientations of traditional culture and communicates them to new generations. The discourse of tradition appears a predictably multi-genre space.

The subject of the study is a genre designed for communicating ethics (categories of norms and ideals). The purpose of the article is to describe the genre specifics of texts of this function type, as well as the possible manifestation of related genres in them which may camouflage the specifics.

The empirical material is a fragment of the recording of the Middle Ob dialect archive of Tomsk State University, made in 1974 in the village of Gyngazovo, Shegarsky District of Tomsk Oblast. The speech of a traditional culture representative, Anna Ilinichna Golovacheva (born in 1912), was recorded. This text combines attributes (parameters) that are typical of the discourse of tradition itself, in its genre diversification, and traits of the allocated genre of ethics communication.

The author used a cognitive-discursive method of analysis of the conceptual richness of the genre and its world-modeling mechanism. This revealed the basic feature of the genre picture of the world: domination of the temporal projection of being.

The logic of the semantic development of the analyzed text is determined by the genre-forming motif of the discrepancy between the proper and the immediate states of the world. It is expressed in the confrontation the “before”-epoch and the “now”-epoch. A strong member of the opposition is the modus of the past. The “before”-epoch needs no specification and reference; it is modeled based on the inversion of immoral, from the point of view of the speaker, manifestations of today’s reality. The

“before”-epoch assumes the function of an unconditional, self-sufficient ethical absolute. The genre canon requires the interpretation of “before” as a strict antagonist of “now”, and not as a step to it. Stereotyped models of the “before”-epoch and the “now”-epoch provide universal lexical time markers.

The analysis also showed that the nature of modeling the past allows differentiating the texts of the functional type from memorates, broadly represented in the dialect discourse with their content focused on the past. Related speech genres of litany, complaint, conviction that are associated with a description of ethical deviations may again be distinguished from the genre of communication of ethics, for they express static and dynamic time models, respectively.

It is concluded that a combination of methods of time interpretation is one of the constitutive features of the class of texts that form the discursive corpus of tradition.

### References

1. Schutz, A. (2004) *Obydennaya i nauchnaya interpretatsiya chelovecheskogo deystviya* (1962) [Ordinary and scientific interpretation of human action (1962)]. In: Schutz, A. *Mir, svetyashchiysya smyslom* [World glowing with sense]. Translated from German and English Moscow: ROSSPEN.
2. Kubryakova, E.S. (2004) *Yazyk i znanie: na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochkoy zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira* [Language and knowledge: towards gaining knowledge about language: Parts of speech with a cognitive point of view. The role of language in the cognition of the world]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
3. Kasavin, I.T. (2013) *Znanie i kommunikatsiya: k sovremennym diskussiyam v analiticheskoy filosofii* [Knowledge and communication: on contemporary debates in analytic philosophy]. *Voprosy filosofii*. 6. pp. 46–57.
4. Bol'shakova, N.V. (2009) *Vzaimodeystvie diskursov v dialektnom tekste* [The interaction of discourses in the dialect text]. *Vestnik Novgorodskogo universiteta – Vestnik of Yaroslav the Wise Novgorod State University*. 54. pp. 7–10.
5. Bol'shakova, N.V. (2015) *K voprosu o zhanrach dialektnoy rechi* [On the question of dialect speech genres]. In: Kryuchkova, O.Yu. & Krysin, L.P. (eds) *Yazyk v prostranstve rechevykh kul'tur. K 80-letiyu V.E. Gol'dina* [Language in the space of speech culture. On the 80th anniversary of V.E. Goldin]. Moscow; Saratov: Amirit.
6. Kalitkina, G.V. (2014) *Dialektnaya kontseptualizatsiya traditsii* [Dialect conceptualisation of tradition]. In: RRezanova, Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: metaforycheskie obrazy traditsionnoy kul'tury* [Images of the Russian world: metaphorical images of traditional culture]. Moscow: URSS.
7. Ris, N. (2005) *Russkie razgovory. Kul'tura i rechevaya povsednevnost' epokhi perestroiki* [Russian conversations. Culture and everyday speech of the perestroika period]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye.
8. Tarasov, E.F. (1977) *Mesto rechevogo obshcheniya v kommunikativnom akte* [Place of verbal communication in the communicative act]. In: Leont'ev, A.A. et al. (eds) *Natsional'no-kul'turnaya spetsifika rechevogo povedeniya* [National-cultural specificity of verbal behavior]. Moscow: Nauka.
9. Dement'ev, V.V. (2010) *Teoriya rechevykh zhanrov* [The theory of speech genres]. Moscow: Znak.
10. Bakhtin, M.M. (1979) *Estetika slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of verbal creativity]. Moscow: Iskusstvo.
11. Tracy, K. & Robles, J. (2015) *Povsednevnyy razgovor. Stroenie i otrazhenie identichnosti* [Casual conversation. The structure and the reflection of identity]. Translated from English by A.V. Kochengin. Khar'kov: Gumanitarnyy tsentr.
12. Shmeleva, E.Ya. & Shmelev, A.D. (2002) *Russkiy anekdot kak tekst i kak rechevoy zhanr* [Russian joke as a text and as a speech genre]. *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii*. 2 (4). pp. 194–210.
13. Slyshkin, G.G. (2004) *Lingvokul'turnye kontsepty i metakontsepty* [Linguo-cultural concepts and metaconcepts]. Abstract of Philology Dr. Diss. Volgograd.
14. Dement'ev, V.V. (2014) *Actual problems of indirect communication and its genres: a view from 2013. Zhanry rechi – Speech Genres*. 1-2 (9–10). pp. 22–49. (In Russian).
15. Kalitkina, G.V. (2015) *Translation of the tradition in the dialect discourse. Biblioteka zhurnala “Rusin” – Rusin Journal Library*. pp. 167–182. (In Russian). DOI: 10.17223/23451734/3/13
16. Moroz, A.B. (2004) *Narodnaya interpretatsiya etnograficheskogo fakta* [Folk interpretation of an ethnographic fact]. In: Tolstoy, N.I. & Tolstaya, S.M. (eds) *Yazyk kul'tury: semantika i grammatika*.

*K 80-letiyu so dnya rozhdeniya akad. N.I. Tolstogo* [Culture Language: semantics and grammar. On the 80th anniversary of Acad. N.I. Tolstoy]. Moscow: Indrik.

17. Wierzbicka, A. (1997) Rechevye zhanry [Speech genres]. In: Gol'din, V.E. (ed.) *Zhanry rechi* [Speech genres]. Vol. 1. Saratov: Saratov State University. pp. 99–111.

18. Kalitkina, G.V. (2010) *Ob'ektivatsiya traditsionnoy temporal'nosti v dialektnom yazyke* [The objectification of the traditional temporality in dialect language]. Tomsk: Tomsk State University.

19. Lyubimova, G.V. (2004) *Vozrastnoy simbolizm v kul'ture kalendarnogo prazdnika russkogo naseleniya Sibiri. XIX – nachalo XX v.* [Age symbolism in the culture of calendar festival of the Russian population of Siberia. The 19th – early 20th centuries]. Novosibirsk: Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS.

20. Rüsen, J. (2003) *Mozhet li vchera stat' luchshe? O metamorfozakh proshlogo v istorii* [Could yesterday be better? On the metamorphoses of the past in history]. *Dialog so vremenem – Dialogue with Time*. 10. pp. 48–65.

21. Lowenthal, D. (2004) *Proshloe – chuzhaya strana* [The past is a foreign country]. Translated from English by A.V. Govorunov. St. Petersburg: Vladimir Dal', Russkiy Ostrov.

22. Tishkov, V.A. (2002) *Vospriyatie vremeni* [The perception of time]. *Etnograficheskoe obozrenie*. 3. pp. 14–24.

23. Shuman, G. & Skott, Zh. (1992) *Kollektivnaya pamyat' pokoleniy* [The collective memory of generations]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 2. pp. 47–60.

24. Mel'chuk, I. (1985) *Semanticheskie etyudy*. I. 'Seychas' i 'teper' v russkom yazyke [Semantic essays. I. 'Seychas' and 'teper' in the Russian language]. *Russian linguistics*. 9:2–3.

25. Silant'ev, I.V. & Shatin, Yu.V. (2014) *Diskurs i stereotip* [Discourse and stereotype]. *Kritika i semiotika*. 1. pp. 10–17.

26. Yakovleva, E.S. (1994) *Fragmenty russkoy yazykovoy kartiny mira (modeli prostranstva, vremeni, vospriyatiya)* [Fragments of Russian language picture of the world (models of space, time and perception)]. Moscow: Gnozis.

27. Pen'kovskiy, A.B. (1985) *O semanticheskoy kategorii "chuzhdosti" v russkom yazyke* [On the semantic category of "otherness" in the Russian language]. In: *Problemy strukturnoy lingvistiki* [Problems of structural linguistics]. Moscow: Nauka.

28. Wojtak, M. (2015) *Genology of usual texts Zhanry rechi – Speech Genres*. 1 (11). pp. 38–50. (In Russian).

29. Ankersmit, F. (2003) *Narrativnaya logika. Semanticheskiy analiz yazyka istorikov* [Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language]. Translated from English by O. Gavrishina. Moscow: Ideya-press.

30. Ikrabaeva, M.V. (2010) *Rechevye akty i rechevye zhanry: sootnoshenie ponyatiy* [Speech acts and speech genres: the concepts ratio]. *Vestnik Bashkirskogo universiteta – Bulletin of Bashkir University*. 15. pp. 636–640.

31. Orlova, N.V. (1997) *Zhanry razgovornoj rechi i ikh "stilisticheskaya obrabotka": k voprosu o sootnoshenii stilya i zhanra* [Genres of colloquial speech and their "stylistic processing": the question of the relationship of style and genre]. In: Gol'din, V.E. (ed.) *Zhanry rechi* [Speech genres]. Vol. 1. Saratov: Saratov State University. pp. 51–56.